

ПРЕДИСЛОВИЕ

«А разве они тогда курили?» — написала мне редактор на полях.

Еще как, ответила я. И поделилась тем, что поразило и меня, когда я узнала: курила, например, и Анна Керн, так что «чудное мгновенье» для воспевшего ее Пушкина наверняка было в сизом дыму. Курила даже сама Наталья Николаевна Пушкина. Она курила так, что прикуривала новую папиросу от окурка прежней. Невозможно представить? Но Наталья Николаевна действительно это делала. И в 1812 году смолили вовсю. Просто папиросы не называли «папиросами». Но мне не захотелось перегружать текст всякими чудными словечками из 1812 года.

«Разве они говорили “бля”?» — не сдавалась редактор.

Дело в том, что мы не знаем этого точно. Может, да. Может, нет. Мы знаем, как писал Пушкин. Но как болтала, ругалась, говорила вся эта масса простых горожан? Их устная речь ушла навсегда и стала зоной допущений. Мои допущения таковы, а уж дело читателя — согласиться или нет. Это все равно будет ваше мнение против моего, и ничего более. Но думаю, что, врезав себе молотком по пальцу, люди 1812 года вопили не «ах, как больно».

Кстати, о словечках. Говорили ли в 1812 году так, как говорят в моем романе? И да и нет. Пушкин, например, говорил «говночист». Трудно представить, но он это

действительно делал! И кстати, именно Пушкин критиковал своих современников-писателей за то, что у них персонажи в светских гостиных выражаются уж больно «изящно», «галантерейно». В отличие от этих писателей (и нас с вами), Пушкин в светских гостиных бывал, так что лучше поверим ему, когда он говорит, что разговор там был вполне в духе московских просвирен, а иногда и прямо солоноват. Поверим Пушкину и тогда, когда он называл аристократов «светской чернью». Почитайте хотя бы переписку братьев Булгаковых, чтобы убедиться, что светские люди той поры, о которой идет речь в моих книгах, были и вульгарными, и пошлыми, говорили и «халда», и еще много всякого остросовременного. Их речь отнюдь не была гладкой и правильной. Они же и были обычными современными людьми! Другое дело, что потом пришел Ю. М. Лотман и написал чудесную мифологическую работу «Беседы о русской культуре». Там все правда, кроме того, что немногие исключения в высшей аристократии представлены, как будто такими были если не все дворяне, то большинство. В этой книге сейчас очень остро чувствуется оптика «эх, какую страну потеряли!». Лотман романтизировал русское дворянство совершенно так же, как Вальтер Скотт — рыцарей (публику по меньшей мере со смутными понятиями о гигиене). Это очень трогательно с его стороны и очень загадочно, потому что если представить, что «та страна» не рухнула в 1917 году, Ю. М. Лотман вряд ли стал бы в ней профессором — скорее всего, ему даже не дали бы вырваться за черту оседлости. Вот это мне было важно, когда я писала свои

книги о 1812 годе: «та страна» отнюдь не была идиллией. И «та война» — тоже. А те люди были просто людьми. Все остальное в моих книгах — просто средства, с помощью которых я стремилась донести эту свою мысль.

Что ж, может, просто нам всегда хотелось верить, что люди тогда были изящнее, чувства прекраснее, мысли чище? Тогда как люди были просто людьми, как мы с вами.

Эту точку зрения так или иначе разделяли и все те люди, которые были вовлечены в работу над тем, чтобы рукопись стала книгой: мои литературные агенты и неизменные первые читатели всего, что я пишу, Юлия Гумен и Наташа Банке; главный редактор «Альпины. Проза» Татьяна Соловьева, в которой я обрела единомышленницу в самых смелых замыслах; руководитель проекта Мария Ведюшкина, которая следила за тем, чтобы все шестеренки и колесики процесса вращались как должно; чудесный редактор Ольга Виноградова, с которой мы в процессе работы писали друг другу бодрящие письма в духе «Будьте так любезны, сообщите мне, стоит ли там оставить “бля” или лучше заменить на “хер”?»; историки, чьих замечаний я ждала и побаивалась, но которые в итоге не нашли, к чему придраться, и очень меня этим осчастливили; вся команда «Альпины.Проза», где серия нашла свой дом. И как говорится, последнее, но не последнее: в какой-то момент каждый из этих людей сказал самые важные для писателя слова: «Я полюбила/полюбил вашу книгу».

Юлия Яковлева

Осень 1812 года

ГЛАВА 1

— Вы в отпуск, барин, или как?

Болтать Мурина не хотелось, к тому же ответа на этот вопрос он не знал и сам. Не знал и полковой хирург, он только сунул папиросу в угол рта и развел руками, как бы обозначая широкий диапазон возможностей: «На одном заживает, как на собаке, а другому от того же самого...» Тут хирург затянулся, выпустил дым через нос, навевая ассоциации с преисподней, и смачно объявил: «...кирдык».

Мурин не умер. Но и не оправился. Видимо, его случайно помещался где-то в середине шкалы, обозначенной полевым хирургом.

Был тот час дня, когда на прогулку выходит tout le Pétersbourg*. Мурин глядел во все глаза. На шляпы мужчин. На капоры дам, завязанные под подбородками лентами. На шали, на ридикюли, на панталоны, на сюртуки, на спенсеры. На киоски. На цельные окна, за которыми был выставлен товар. На улыбки. На собачек. На мальчишку, который перебежал мостовую, удерживая на голове поднос, накрытый одеялом, из-под которого выбивался запах сдобы. Мурина изумляло их будничное

* Весь Петербург (фр.).

благополучие. Наверное, кто-то из этих людей был тревожен или несчастлив. Но даже и несчастливы они, казалось ему, были как-то иначе: не так, как те, на войне. Сама мера несчастий у этих людей на Невском проспекте казалась понятной, постижимой. Мурина захотелось поскорее стать одним из них. Отпуска ему дали две недели. Не хотелось расплескать ни капли.

Но сперва — поздороваться. В отличие от многих, кто родились в своих имениях, а столицу воспринимали как неизбежное, не всегда комфортное условие для карьеры, Мурин любил Петербург. Прямые линии и пустые пространства, отороченные камнем, бодрили его, придавали собранности.

Мурин хлопнул лихача по широкой спине:

— Езжай прямо.

Лихач на всякий случай уточнил:

— Так вы никак в Демутов трактир велели? Демутов трактир направо.

— Прокачусь по набережной.

Лихач кивнул, чмокнул. Рысак легко наддал, тротуар вильнул прочь, вывески понесли назад: «ыдом», «риткарт», «аквал». Мурина вжало спиной в подушки сиденья. Кричать «Поберегись!» или «С дороги!» лихач считал изменой собственному снобизму: сами отпрыгнут, если жизнь дорога. Какой-то мастеровой, которому пришлось проявить проворство, несовместимое с человеческим достоинством, метнул было им вслед трехбуквенное, да куда там: рысак был что надо. Ругательство не догнало, зависло на миг над мостовой и лопнуло. Дворник, приметив на торцах свежую конскую кучу,

кинулся на нее с совком и щеткой, пока не размяли колесами другие экипажи, пока деревенский навозный дух не достиг благородных ноздрей: Невский же, еп-тыть, проспект! Никто не выходит на Невский проспект, чтобы зажимать нос.

Ветер налетал через боковые улицы и пах рекой. Мурин волновался. Вода! Вот чего не хватало в первую очередь там. На войне. Воды во флягах. Воды, чтобы взять ванну. Воды, чтобы побриться. Воды как линии горизонта. Воды, которая делит пейзаж с небом, как в Петербурге. Как — но додумать он не успел: перед ним распахнулся необозримый воздушный купол — коляска свернула и понеслась по набережной. В ушах засвистел ветер. Чайки качались в высоте, точно обрезки железной ленты. Юбки дам сносило, накреняло колоколом, рукой в перчатке каждая придерживала шляпу. Шали надувало, как паруса. У мужчин брючины облепляли ноги. Горничные держали детей за руки, точно боясь: а ну улетят в Пулково, в Выру, в самое Финляндское княжество. Мурин не выдержал, опираясь обеими руками на борта, привстал. Ветер тут же надавал ему по мордасам. Дышать стало трудно. Приходилось цедить сквозь зубы, чтобы не задохнуться. Хотелось захохотать. Он представил себя домом, в котором все окна нараспашку. Катятся, треща, листы бумаги. Хлопают шторы. Вылетают вон воспоминания, вопросы. А главное, этот мерзкий запах, запах, которым там пропиталось все: запах гниющих мертвецов. Дуй же! Больше! Унеси все!

Коляска чуть не накренилась, закладывая поворот, прыгнула под низкие своды Зимней канавки, ветер

тут же стих, точно и не было. Прохожих здесь тоже не было — сказывалась близость дворца. Мурин плюхнулся обратно на сиденье. От усилия руки гудели. Он чувствовал себя умытым. Теперь вокруг было тесно от каменного строя, Мурин разглядывал знакомые дома. Невский ветер освежил его. Продул, проветрил. Когда Мурин подкатил к гостинице Демута, увидел того же самого мордатого швейцара у той же самой двери того же самого зеленого цвета, что и до войны, он почувствовал, что улыбка сама расплзлась на лице.

Коляска еще не остановилась, а швейцар уже бросился к дверце:

— Сколько зим, сколько лет!

Это было преувеличением. Война шла всего несколько месяцев.

— Что, соскучились?

— С тоски чуть недохнем! — махнул рукой швейцар. — Скорей бы господа офицеры вернулись.

«Некоторые уж не вернутся», — вдруг влезла мысль. Улыбка Мурина скисла, а швейцар с непривычки не заметил — все трещал, слегка кланяясь:

— Извольте сейчас за цыганами послать? За Танькой или Машкой? А то Илья и медведя привести горазд.

Мурин не ответил. Швейцар понял иначе, зашептал, но громко:

— Или за мадам Кики?

— А что, разве кто-то из французов остался? — удивился Мурин. Они все бежали из столицы, когда началась война: портнихи, модистки, актрисы, балетные, проститутки, парикмахеры, лавочники. Французские

лавки закрылись, французская труппа уехала. Боялись, что будут громить, сажать, а то и вешать.

Мурин сунул лихачу деньги и убрал кошелек. Он вдруг сообразил, что не знает, как сойти с коляски. Делать это самостоятельно ему еще не приходилось.

Швейцар тонко улыбался:

— Остался кто или нет, знать не могу. Я им не сторож. Заведение прибрала какая-то дама из Риги, да все по привычке: мадам Кики да мадам Кики. И девок тоже: Зизи, Заза, Нана, Рири. Стосковались дамы! Жалуются: мол, господа чиновники и прочие цивилизные, если позволите, веселиться не умеют. Все у них по тарифу, больше положенного не дождешься.

Может, это и был намек на чаевые, но Мурин его не услышал. Он соображал, с какой ноги лучше приняться, за что схватиться для опоры. Мешала и шинель. Край ее все время соскальзывал и путался в ногах. Еще надо было взять кивер. Он стоял на сиденье рядом, как пустая коробка, а третьей руки у Мурина не было. Швейцар неправильно понял его замешательство:

— А то и за балетными пошлю, коль изволите. Такие цыпочки есть. И тоже прозябают. Господа чиновники разве ж веселиться умеют? Веришь ли, Влас, от этих штатских мухи дохнут на лету, жаловалась мне одна мадемуазель из балетной школы, вот плутовка: скажи, Влас, да скажи, когда уже господа офицеры вернутся...

— Хватит, — огрызнулся Мурин. — Заткнись, каналья! Заткнись уже...

Швейцар отшатнулся от борта, вылупился. Он бы спокойно пережил, если бы Мурин сунул ему кулаком

в лицо, — когда гуляли офицеры, случалось и похуже! Но только сейчас дело было среди бела дня, по набережной проходили господа в черных цилиндрах, а господин офицер был не пьян.

Мурин спохватился. Он увидел свои поднятые кулаки. Почувствовал, как загорелись уши. Разжал пальцы. Но так и остался сидеть.

Обычно гусарские офицеры, подкатив к Демуту, выскакивали одним прыжком; швейцар наконец сообразил: тут что-то не то. Лихач обернулся. Обычно его ездоки возле Демута либо браво соскакивали на ходу, либо выпадали из коляски прямо на тротуар — в зависимости от степени опьянения. Они переглянулись. Швейцар нашелся первым. Ринулся к коляске, распахнул дверцу, выдвинул лесенку, обычно прибегаемую для дамского полу. Подал пассажиру руку, согнутую в локте.

— Извольте, ваше бла-ародие. А костылик ваш или трость... Ах, вот она, извольте, подам.

Мурин замешкался, прикидывая маневр. Сперва трость? Или нога? Которая? Ступил на лесенку. Шатко накренился, начал падать на швейцара, успел. Крикнул:

— Отлезь!

Выправился, размахивая руками, уперся концом трости, стукнул на тротуар здоровую ногу, подволок другую, оперся, и делая один шаг слишком размашистым, а другой слишком коротким, проковылял в дверь.

Из гостиницы тут же выскочил лакей, подбежал к задку коляски, принялся отстегивать ремни, снимать багаж. Лихач на козлах сидел истуканом. Теперь

у подъезда остались только свои, можно было допустить некие откровенности.

— Эх, война-сволочь, — сказал лихач.

Швейцар одной рукой приподнял за козырек фуражку, другой почесал потное темя:

— Вот же едрит. М-да. А какой молодец был.

Все трое прислуживали давно и наблюдали о людях такие тонкости, которые не мог бы уловить своим пером даже известный сочинитель Карамзин (они о таком, впрочем, не знали). Всем троим стало не по себе. Они чувствовали, что самой идее шикарной, веселой, разгульной и беззаботной жизни, которую олицетворяла гостиница Демута, нанесен какой-то внезапный удар. Молодцы-завсегдатаи, которые казались вечно молодыми и вечно пьяными, несколько месяцев назад ушли воевать, а теперь вот, похоже, возвращаются, хотя и не все. А те, кто вернется, все эти парни и пацаны, вернутся оттуда не совсем целыми и совсем не теми, кем ушли, и это сулит гостинице Демута и всей столичной жизни какие-то перемены, про которые уже сейчас понятно одно: лучше бы их не было.

Лакей с портпледом в одной руке и с баулом в другой поравнялся с ним.

— «Костылик или трость», — передразнил он, закатив глаза, и покачал головой. Как можно быть *таким* бестактным, служа в *таком* заведении?

— Бля, — согласился швейцар.

Известие о новом — старом — постояльце помчалось по лестницам, по коридору, влетело в кабинет управляющей — госпожи Гюне. По случаю новых

времен вместо госпожи Гюне его занимала госпожа с более патриотичной фамилией: Петрова. Она выслушала доклад швейцара, покачивая чепцом, как бы приговаривая: так, так, так. Потом взяла в руки перо и принялась молча вертеть им.

Графиня Вера Алексеевна очень удивилась бы, если бы узнала, что, крепко задумавшись, крутит в руках перо точно так же, как вульгарная и мещанская мадам Петрова. Все в этих женщинах было разным! Графиня Вера родилась богатой, а где, когда, у кого родилась мадам Петрова, не знала даже она сама. Графиня Вера была изящная, мадам Петрова — толстая. Графиня Вера сидела за столиком на львиных лапах, а мадам Петрова — за канцелярским чудищем, заляпанным воском и чернилами. И даже само перо: мадам Петрова купила его в Гостином дворе, где графиня не была ни разу в жизни. Но графиня перо и в самом деле крутила. И точно так же, как в случае с мадам Петровой, это не помогало ее мыслительным затруднениям.

Дело было сложное: предстоял вечер с гостями.

Графиня Ксения тем временем полулежала на кушетке, модной, то есть жесткой и ужасно неудобной, но по изящной позе графини Ксении об этом невозможно было догадаться. Графиня Ксения так грациозно подпирала голову рукой, что казалась умнее, чем была на самом деле. Поэтому графиня Вера обернулась к подруге с надеждой:

— Что же ты посоветуешь?

— Милочка, право. Танцевать на балах, когда идет война, это может быть воспринято несколько... непатриотично. Бедный воин, проливший кровь за отечество, будет вынужден подпирать стенку и скучать.

— Но, может, ужин и карты?

— Смотря какие карты. Некоторые во время игры впадают в такой раж, все равно как если бы прыгали в мазурке.

Прыгать в мазурке, когда идет война, было уж точно непатриотично.

— А вист?

Подруги призадумались, перо еще несколько покрутилось. Решили, что играть в вист, когда идет война, допустимо и патриотично. Особенно если не делать больших ставок.

— Ах, — слегка приподняла грудь графиня Вера. Больше не позволял корсет. — Этот Мурин. Все планы из-за него приходится перекраивать. Что за несуразная идея: разрешать военным отпуска. Пусть бы они делали свое дело где-то там. И лечились — тоже где-то там подалее. А возвращались сюда, только когда уже все кончено и все выздоровели. Я не виновата, что не хочу смотреть на увечья.

Графиня Ксения, впрочем, ее и не обвиняла.

— Я не против страданий, я им сочувствую. Но и нам ведь тоже немного повеселиться не мешает.

— Но ведь и им надо отдохнуть.

— Да, но. Отдыхали бы у себя в деревнях, в имениях! Зачем непременно надо ехать в Петербург? Из-за этого все остальные оказываются в двусмысленном

положении. Получается, что мы тоже на войне, хотя мы вовсе не на войне! Будь моя воля, я бы его не приглашала. К тому же, пригласив Мурина, я должна пригласить и остальных... таких. Моя гостиная будет похожа на полевой лазарет!

— Да, но, — напомнила графиня Ксения, — ты не можешь не пригласить Мурина, даже если его придется привезти в кресле и всего в бинтах.

Графиня Вера вообразила это и передернула плечами. А графиня Ксения милосердно напомнила, что и в страдании подруги есть смысл:

— У Мурина брат.

Ипполит Мурин был человеком, перед которым в Петербурге трепетали. В отличие от гусара-младшего — Матвея, Ипполит пошел по дипломатической линии и зашел так высоко, что голова кружилась у тех, кто следил за его карьерой. Он был любимцем государя, и никто точно не знал, чем именно он занимался — какие-то законы сочинял, что ли. Ему не было тридцати, орденов уже — как у старика. Все прочили его в канцлеры. По этой причине от Мурина-младшего было не отвертеться. Графиня Вера смирилась:

— Значит, ужин и вист. И надо предупредить всех потихоньку, чтобы при военных, которые приехали из действующей армии, они ни в коем случае не говорили по-французски. Боже мой... Значит, половина гостей вынуждена будет молчать как рыбы. Что за вечер предстоит!

— Дорогая, я восхищаюсь тобой, — отозвалась с кушетки графиня Ксения. — Ты жертвуешь собой во имя патриотического долга.

Графиня Вера послала подруге благодарный взгляд, отбросила перо, позвонила в колокольчик и велела явившемуся лакею разослать приглашения согласно списку гостей — и принести тотчас чай. А когда он удалился, сказала графине Ксении:

— Этот Мурин... Я его не понимаю. Что за охота выставлять напоказ свои увечья? Я чувствую себя так, будто он нас ими попрекает.

— Милочка, это неизбежно, поэтому думай о хорошем: Ипполит Мурин наверняка запомнит внимание, которое ты проявила к его армейскому братцу.

Братьев Муриных — Ипполита и Матвея — разделяли чуть не десять лет и разница во взглядах и опыте, но родственная любовь, душевная близость превозмогали всё. Едва получив записку от младшего, доставленную казачком Демутовой гостиницы, Ипполит Мурин лично испросил у государя выходной. Император был очарователен, как всегда: «Обнимите от моего имени раненого героя». Со свойственной ему чуткостью Ипполит не стал сразу же передавать брату этот привет. Он поспешил в Демутovu гостиницу не за спорами, а в надежде убедить брата послушаться его совета.

— Будь я на твоём месте, я все же бы поехал в деревню.

Как Ипполит и ожидал, младший сразу насупился:

— А чем плоха гостиница?

Ипполит оглядел номер, в котором остановился Матвей. Пахло воском, которым натерли паркет,

и слегка краской от свежих стен, на которых повторялся узор из лавровых венков. Полосатый диван растопыривал кривые ноги, за тяжелым занавесом помещалась, надо полагать, спальня. Госпожа Петрова жутко боялась, что постояльцы будут говорить «при Гюне было чище» и «не имеют все же наши русские красиво жить, не умеют». Она лично проверяла своим белым платочком, есть ли пыль. Горничные трясли пушистыми метелками ночи напролет. С Васильевского острова даже был вызван китаец — он секретным способом вывел тараканов, перед которыми когда-то капитулировала сама госпожа Гюне (правда, скептики говорили, что тараканы из Демутовой гостиницы не погибли, а перешли в дом госпожи Трубецкой).

— Недурно, — заметил старший Мурин. — Но дома и стены помогают.

— Осень в деревне? Бр-р-р. Нет, спасибо. — Мурин сидел на диване, трость стояла рядом.

Старший Мурин примерился к креслу. От обивки пахло не пылью или клопами, а лавандой. Сел, заложил ногу за ногу, вынул портсигар, предложил брату, тот помотал головой, взял себе.

— Можно подумать, осень в Питере — благодать, — он наклонился папиросой к огню. Когда старший Мурин закурил, на манжетах у него блеснули простые золотые запонки. Он был одет нарочито скромно. Галстух был завязан без претензий, воротник подпирал худощавые щеки. Ему не надо было украшать себя, власть и влияние окружали его ореолом вместо бриллиантов. Он выпустил дым.

— Осень — дрянь, — согласился младший. — Но дело не в этом. Я навидался... (но тут он успел затормозить и сказал совсем не то, что хотел) грязи и неудобств. Хватит с меня жизни в стиле Руссо. Я все лето видел дороги, поля, леса, пыль...

Тут Матвей Мурин опять успел затормозить вовремя.

— ...А теперь хочу, чтобы вокруг меня был город, извозчики, тротуары, окна, мостовые, живые и целые люди. Цивилизация! Я теперь хочу, видишь ли, не в пруду мыться, а лежать в медной ванне. Бриться у цирюльника, а не у денщика. И вообще — бриться каждый день. Каждый день менять рубаху. Есть досыта. Носить чистое исподнее.

— Ну, эту подробность мог бы и опустить.

— Ах, но как же объяснить, что такое война, тому, кто на ней не был? Прежде всего, это ужасные неудобства каждый день.

— Смотри это кому-нибудь здесь не ляпни, — быстро предупредил старший брат.

Мурин удивленно посмотрел.

— Упирай на героическое, — посоветовал брат. — Все жаждут услышать про подвиги. Что-нибудь на древнеримский манер лучше всего. Слышал, как про Раевского рассказывают? Обнимемся, сыны мои, победим вместе или вместе умрем за родину.

— Но ведь это неправда! Сам генерал Раевский говорит, что это неправда! И сыновей его там даже не было, когда бой на мосту начался. Они в лесу грибы собирали.

— Раевский сам так говорит?

— Конечно. Он же честный человек. Зачем ему патриотические сказки?

— Он неумный человек, в таком случае. Не будем о нем спорить. Я с тобой полностью согласен. Но речь сейчас о петербургском свете, а здесь уж, прошу, доверься мне.

Мурин подтянул к себе трость и покраснел.

— Что такое? — заметил заминку брат, обладавший, как все искусные дипломаты, чуткой наблюдательностью.

— Ты поэтому советуешь мне ехать в деревню? Чтобы я чего тут не ляпнул? И не выставил тебя в смешном виде или похуже?

Старший Мурин закатил глаза, точно ему было за двадцать, а брату четырнадцать:

— Боже мой. Нет. Конечно! Нет! Мне просто кажется, что, будь я на твоём месте, мне бы какое-то время не хотелось видеть так называемых светских людей, особенно светских дам.

Младший нахмурился. Старший потянулся и положил руку брату на колено:

— Милый. Я тебе верю, что война — это ад.

— Я такого не говорил!

— Я говорю: я не могу и половины представить того, что ты повидал и пережил за эти несколько месяцев. Но понимаю только, что ты побывал в преисподней. Теперь тебе предстоит вернуться к живым. В грешный мир. И делать это следует постепенно. Советую уехать в деревню, пусть будет что-то вроде чистилища, перехода. Не стоит вот так сразу — бултых! — бросаться

оттуда в наши петербургские гостиные. Особенно начинать с гостиной этой мегеры графини Веры.

Они помолчали. Сизый дым, медленно клубясь, таял.

— Я согласен, — выдавил Мурин.

Старший похлопал одобрительно, а потом убрал руку с его колена:

— Чудно. Об комфорте не беспокойся. Позволь мне самому распорядиться, чтобы тебя устроили в дорожку с комфортом. У меня отличная английская коляска, не качает. Возьмешь ее. Провизию уложим самую элегантную. У меня есть раскладная резиновая ванна, возьми ее, будешь и в деревне ванны брать. Выедешь затемно, в пути прекрасно выплывешься. Проснуться толком не успеешь — а уже в Муринке, в родном гнезде.

Младший Мурин дернул себя за ус и притопнул здоровой ногой:

— Да нет же! Спасибо тебе. Но... Я это вижу иначе. Я с тобой действительно согласен: в главном. Я все понял. Ты, конечно, прав. Болтать здесь лишнее не буду. Не беспокойся. Но частности, позволю, решу за себя сам.

— Милый, ведь я желаю тебе добра...

Мурин попробовал улыбнуться беззаботно:

— Что ты, что ты. Никогда не сомневался в твоей доброте ко мне! Спасибо за заботу. Ты прав, конечно. Конечно, прав. Я правда — понял, понял.

— А я решительно не понимаю, почему ты готов действовать себе во вред. Тащиться после ранения в Петербург! Угробить отпуск. Рисковать здоровьем. Что, если ты никогда не восстановишься? Наш ужасный

климат доконает и здорового. Тем более уже осень. Сырость, холод. А будет и зима... Ради чего? Таскаться по гостиным? Смотреть на эти лицемерные морды? Слушать ахинею дам? Зевать над картами? Не танцевать же ты сюда приехал?

— Ну. Не все дамы несут ахинею.

Вдруг старший Мурин всплеснул холеными руками. Уронил папиросу:

— Боже мой! — воскликнул он. — Только не это.

Но младший брат отвел взгляд.

— Ты же говорил, между вами все навсегда кончено...

Но по пристыженному лицу Матвея понял, что попал в точку, и схватился за голову (как не хватался даже тогда, когда ему показывали дефицит годового бюджета российского государства):

— Опять... Ты здесь из-за нее. Из-за этой чудовищной женщины. Из-за нее? Отвечай!

Матвей Мурин решительно замотал головой:

— Нет-нет. — Он вздохнул, и голос его дрогнул: — Между нами действительно все кончено. Просто...

— Так кончено или нет?

— Ну. Она вовсе не такое уж чудовище, каким ты ее рисуешь.

— Ты намерен с ней встретиться?

— Пожалуйста, не будь таким категоричным.

— Да или нет?

— Я сам не знаю.

— Она опять тобой крутит! — в голосе Ипполита была злоба. — Эта женщина! Наглая, расчетливая женщина без совести и стыда.

Он вскочил из кресла. Матвей тоже подался было, да пришлось искать трость, упираться, нога послушалась не сразу. Ипполит кинулся на помощь. Матвей перехватил его руку, заглянул в лицо:

— Пожалуйста, не будь к ней так суров. Ее все не понимают. Она вовсе не расчетливая. Она страстная и, в сущности, наивная. Она рождена для воли, для жизни чувств. А не для светских условностей.

Лоб брата разгладился. Матвею показалось, что слова его оказали действие. Он ошибся. «Но ничего, — слушал его и думал о своем Ипполит. — Я найду этой стерве укорот». Он почувствовал холодную решимость опытного шахматного игрока. Он был уверен в своей победе. Это, а вовсе не слова Матвея, смягчило его. Он похлопал брата по плечу:

— Как скажешь. Как скажешь. Тебе видней.

Ипполит решил защитить брата любой ценой.

Матвей Мурин долго сидел перед бюро с пером. Лист бумаги пугал его. Казался снежной степью. Записка княгини Звездич лежала поодаль, на самом краю стола. От нее слабо пахло духами. В ней было всего четыре слова: «Мне сказали, вы в Петербурге». Пять — считая предлог. Шесть — считая букву Н вместо подписи: о Нина, Нина... Матвей в муках сочинял ответ. При-
сутствие княжеского лакея за спиной нервировало его. Он бы с радостью усладил его. Но княгиня велела лакею вернуться либо с ответом, либо со словами, что ответа не будет. Лакей был рослый, нарядный и неприятно

напоминал о муже прекрасной Нины — князе Звездиче, молодом толстяке, на деньги которого Нина была окружена роскошью.

Матвей почесал пером лоб. Наконец решился. «Графиня Вера сегодня вечером устроила ужин с картами». Семь слов. Восемь, считая предлог. Это важно или нет? Он вымарал «с картами» и «вечером», чтобы приблизиться к эталону отношений, заданному Ниной, сложил записку, отдал лакею и только потом вспомнил, что забыл подписать. Ладно. Пусть Нина сама придумывает, что это могло бы значить. Пора было завивать волосы.

Когда Мурин — завитой, напомаженный, одетый и даже надушенный — подъехал к особняку графини Веры на Миллионной, было уже темно и сыпался дождик. К карете тут же подскочил лакей с зонтом: чтобы гость не испортил прическу и усы, пока войдет под козырек подъезда.

Мурин благополучно выбрался. Преодолеl крыльцо. Вошел в распахнутые двери, скинул плащ. При виде беломраморной лестницы у него заныло под ложечкой: одолеть ее казалось таким же невозможным, как взойти на ледяную гору. В зеркалах повторялись фигуры лакеев, гостей. На верхней площадке дамы поправляли цветы и украшения, прежде чем пройти в гостиную. Хозяйка дома, графиня Вера, была там же и встречала прибывших. Она сразу заметила и Мурина внизу, и его заминку. Сам Матвей Мурин был для нее безвреден. Но графиня Вера до паралича боялась его брата Ипполита: он мог здорово осложнить жизнь ее мужу в министерстве иностранных дел, что в свою очередь

сказалось бы на светском статусе самой графини. Вера тут же подозвала наиболее доверенного лакея, указала подбородком на Мурина и строгим шепотом приказала проявить тактичность.

Мурин едва успел поставить ногу на первую ступеньку, как лакей уже ласково вынул у него из руки трость, забрал себе. Незаметно приобнял его, крепко прижался ляжкой и повлек вверх. Со стороны все выглядело так, точно лакей просто помогает нести трость. Графиня Вера встретила Матвея Мурина сияющей улыбкой, лакей учтиво исчез.

— Добрий вьечер, — заговорила графиня по-русски, очень изумив Мурина, при этом слово «Петербург» она произнесла грассируя, на французский манер, и слегка споткнулась о русские согласные. — Pétersbourg при-вест... тс... вует наших славних гэоев.

На этом ее словарный запас кончился. Недостаток слов графиня возмещала улыбками и жестами. Мурин не стал ее мучить, поцеловал руку и прошел в гостиную. А графиня Вера принялась тревожно высматривать следующего приглашенного калеку: кавалергардского корнета Прошина. Как и Мурин, он прибыл в отпуск из действующей армии.

Мурин так давно не видел нарядных дам, что, когда он вошел в гостиную, все они сперва показались ему одинаковыми. На всех были длинные платья. На всех были розы. У всех были локоны. На всех — отражая свет свечей — сверкали алмазные диадемы, серьги, ожерелья. Темнели фраки мужчин. Гости уже разбивались на группки, беседуя. Гостиная была наполнена уютным

журчанием разговоров. Лакеи с бокалами на подносах лавировали между гостями так ловко, что казались невидимыми. Мурин увидел княгиню Звездич по сиянию, которое исходило от нее, и дело было отнюдь не в бриллиантах. Ее кожа была такой белой, ресницы, брови и кудри — такими черными, а черты лица такими отчетливыми, что остальные дамы рядом с ней сразу тускнели, казались какими-то блеклыми, клеклыми, какими-то недопеченными. Нина — сияла. Мурин видел, что с ней разговаривает его брат Ипполит, сердце его ёкнуло от недоброго предчувствия: «Какие у этих двоих могут быть разговоры?» Но тут Нина и Ипполит заулыбались, а Ипполит даже и засмеялся. Поцеловал Нине руку. Мимо Мурина прошел лакей, обходительно качнул в его сторону подносом. Мурин отрицательно повел глазами. А когда лакей отчалил, Ипполита рядом с Ниной уже не было. Мурин похромал к ней, но так, чтобы истинная цель маневра не бросалась в глаза остальным.

— Ба! Мурин! — наперерез бросился к нему господин с русыми бакенбардами. Это был известный распорядитель балов Николушка Веригин, брат всем известной баронессы. Николушка на ходу снял с подноса два бокала, один протянул Мурину:

— Выпьем.

И не дал Мурину и рта раскрыть:

— ...Господа, господа! — закричал он тем голосом, которым привык объявлять фигуры мазурки.

При звуках его голоса, как лошади при звуках полковой трубы, все привычно обернулись. Мурин не знал, куда провалиться. Он глядел поверх голов, но кожей